

А. В.  
АМФИТЕАТРОВ



*Избранное*



# Александр Валентинович Амфитеатров

## Пушкинские осколки

«Единственный знакомый мне здесь, в Италии, японец говорит и пишет по русски не хуже многих кровных русских. Человек высоко образованный, по профессии, как подобает японцу в Европе, инженер-наблюдатель, а по натуре, тоже как европеизированному японцу полагается, эстет. Большой любитель, даже знаток русской литературы и восторженный обожатель Пушкина. Превозносить «Солнце русской поэзии» едва ли не выше всех поэтических солнц, когда-либо где-либо светивших миру...»

**Александр Валентинович  
Амфитеатров  
Пушкинские осколки**

Единственный знакомый мне здесь, в Италии, японец говорит и пишет по русски не хуже многих кровных русских. Человек высоко образованный, по профессии, как подобает японцу в Европе, инженер-наблюдатель, а по натуре, тоже как европеизированному японцу полагается, эстет. Большой любитель, даже знаток русской литературы и восторженный обожатель Пушкина. Превозносить «Солнце русской поэзии» едва ли не выше всех поэтических солнц, когда либо где либо светивших миру. Способен беседовать о Пушкине часами и безошибочно читает наизусть его стихи страницы за страницами. При этом, – давно заметил я, – питает особенное пристрастие не к знаменитым пьесам и строфам, которые обычно у всех на в памяти и на устах, как неизбежная рекомендация и поэтический паспорт Пушкина; но цитирует, по преимуществу, мало известные отрывки, черновые наброски, неоконченные стихотворения, – вообще, какое-нибудь такое мелкое «незаконченное», что и не во всяком полном собрании сочинений Пушкина найдется; а уж издатели так называемых «избранных произведений»

почти всегда подобными «пустяками» пренебрегают.

– И очень неразумно поступают, – говорит японец, – это все равно, что, найдя на улице драгоценный алмаз, оставит его валяться в пыли, потому что он не похож на шлифованные и граненые бриллианты, которые вы видели в театре или на балу в колье модной красавицы. Пушкина нельзя делить на «великаго Пушкина» и «Пушкина маленькаго». Он всегда, везде, во всем велик и многозначителен. Помните? —

*Ты любишь с высоты  
Скрываться в тень долины ма-  
лой.  
Ты любишь гром небес, и также  
внемлешь ты  
Журчанью пчел над розой алой...*

В Пушкине вот именно такое мировое звуко-слитие от грома в небесах до журчанья пчел над алой розой, – и везде он одинаково прекрасен. Все вял: и неба содроганье, и горный ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье. Знаете, конечно, знаменитый дифирамб Пушкину по-

эта Полонского?

– Мало, что знаю: некогда имел удовольствие собственными ушами слышать, как Полонский читал его на знаменитом торжественном заседании Общества Любителей Российской Словесности при открытии московского памятника Пушкину. Читал, хотя на костылях, но с великим пафосом – «голосом влюбленного тигра», как потом безжалостно сострил Михайловский. Старый поэт имел огромный успех – и заслуженный, потому что искренне до слез, и впрямь влюбленно волновался радостью пушкинского апофеоза. Но стихи то, по правде сказать, всетаки неважные. Как почти всегда у Полонского, смесь энтузиазма с опасением, что «не поймут», а, отсюда, в разсудочном стремлении растолковать, вторжение рифмованной прозы.

– Да, бывают и лучшие стихи, но идея всеобъемности Пушкина Полонским выражена верно, точно и широко. Он понял поэтическую вездесущность Пушкина, дает в простодушном житейском перечне осязать ту его вселенность, которую так величественно и законоположно «огромными словами», уста-

новил Достоевский. Пушкин – как Дух Божий: веет, где хочет. И чего коснулось его веяние, возвышается в совершенство. Вы, вот, удивляетесь моему пристрастию к неоконченным стихотворениям Пушкина. А, по моему, неоконченных произведений у Пушкина нет.

– Как? А «Русалка»? а «Галуб»? а «Египетские ночи»? а «Арап Петра Великого»? Да и, пожалуй, даже «Евгений Онегин», наконец?

– Это произведения, мнимо неоконченные.

– То есть?

– Лишь формально прерванные смертью поэта или житейскими препятствиями, сильнейшими его воли. Внешне приостановленное нельзя считать неоконченным. Во всем, что вы назвали, отсутствие конца – случайность, независимая от поэта. А совершенство этих пьес, поскольку они до нас дошли, свидетельствует как раз обратное: что они были Пушкиным выношены до полной законченности, так что им недоставало только механического процесса – перелива вдохновения из головы и сердца – рукою – на бумагу.

А каково совершенство якобы «неоконченного», лучше всего показывается неудачами всех

позднейших опытов его «докончить». Их, ведь, было множество, и брались за них не только самонадеянные дилетанты – рифмоплеты, мечтавшие, будто, легко и звонко владея стихом, можно «продолжать» Пушкина, и не грубые практики-фальсификаторы, еще наивнее воображавшие, будто Пушкина можно подделать. Нет, брались за них и настоящие, большие поэты. Майков развил в длинную балладу пушкинское четверостишие:

*В голубом эфира поле  
Блещет месяц золотой;  
Старый дож плывет в гондоле  
С догарессой молодой.*

Валерий Брюсов докончил «Египетския ночи». Оба поэта – умные, богато одаренные вкусом, воображением, не говоря уже о высоком мастерстве стиха. И, конечно, оба сознавали, что, пытаясь продолжать Пушкина, они, собственно говоря, борются с Пушкиным, а потому оба старались отличиться в своем искусстве, как можно лучше. И, всетаки, что же? У обоих – полное фиаско. Оба – словно бы присадили на живое лицо мертвый нос.

– Да, Брюсов очень стремился достигнуть



Пушкина и чувствительно страдал безсилием своего к нему взлета. Помню, как мне понравилась первая глава «Алтаря Победы», ловко стилизованная Брюсовым под Тацита. Я тогда поздравил его с удачей: это, мол, вышло у вас почти так же хорошо, как пушкинский набросок «Цезарь путешествовал». Брюсов ответил мне такую восторженной благодарностью, что даже смутил. Но, к сожалению, силы на пушкинскую стилизацию достало ему лишь для первых страниц: дальше пошла условная поддельщина – трафарет под музейные «антики»...

– Таков всегдашний конец напрасных состязаний с Пушкиным, – подтвердил японец. – Возьмите хотя бы этот отрывок «Цезарь путешествовал». Всего какая-нибудь двадцать – тридцать строк, едва приступ к огромной исторической программе, а разве можно считать его «неоконченным»? Античный мир уже глядит из него во все глаза, античная форма уже predetermined, установлена и развивается. Если это неоконченность, то разве – неоконченность Ватиканского торса, который Микель Анджело считал самым совер-

шенным достижением скульптуры. Недоконченность парижского собора Нотр-Дам, на которую не поднялись кощунственные руки архитекторов позднейших веков: ведь, еще недавно американские миллиардеры предлагали кредиты на достройку, но французам достало ума и вкуса, чтобы отказаться наотрез. Закончить «Египетские ночи»? Легко сказать! Сколько ваятелей пытались угадать, как безрукая Венера Милосская держала руки, когда их имела, но каждый опыт снабдить ее «протезами» лишь нарушал гармонию несравненного кумира, и, значит, опошлял совершенство божественной красоты несовершенством условной житейской красоты.

«Незаконченность» – термин, пригодный только для тех произведений искусства, в которых творец не совладал с художественным заданием и отступил от него по бессилию довести предпринятый труд до того цельного слияния мыслей с образами, что мы зовем красотой. А разве это когда-нибудь бывало у Пушкина? В его словесной живописи каждый мазок, в его скульптуре каждый удар резца и молота – уже цельность. Не огромности «Ру-

салки», «Галуба», «Египетских ночей» и т. п. имею в виду: об их художественной написанности, пишутся и еще долго, может быть, вечно будут писаться томы. Говорю об излюбленных моих «осколочках», об этих кусочках разсыпанных пушкинских мозаик, из которых, однако каждый, уже сам по себе, высокохудожественная цельность, запечатленная «гением чистой красоты».

*Надо мной в лазури ясной  
Светит звездочка одна:  
Справа запад темнокрасный,  
Слева бледная луна.*

Разве не прекрасно?

– Замечательно красиво, но... что же дальше?

– Ничего дальше? Зачем вам дальше?

– Самодовлеющий пейзаж?

– Почему же самодовлеющий пейзаж? Он для вас, читателя или слушателя, написан. Это вас поэт ставит под одинокою звездочкою в ясной лазури, между темнокрасным западом и бледною луною. Он дал вам четыремя стихами поразительно красивый музыкальный аккорд и наметил мелодию – вступление

к ноктюрну, а создать его своей мечтой – дело уже вашего впечатления и настроения. Каждый читатель и слушатель поэта должен быть, вместе с ним, сам поэтом. Если поэзия не отражается в душе внимающего посильным ему лиризмом, то на что же она годится?

Таково, по крайней мере, наше ниппонское, азиатское рассуждение. Вы, русские, слишком глубоко ушли от Азии в Европу и слишком избалованы богатством и щедростью своей европеизированной литературы. Чтобы вызвать в себе настроение, вам мало непосредственного впечатления, вы требуете от своих художников еще философского толкования, психологического анализа, с логическим моральным выводом. Вы ленивы на воображение и заставляете за себя работать им авторов. А мы, Азия, сильны мечтою, любим мечту, а потому нам от поэта довольно образов, которых впечатления дарят нас мечтами, вводят в настроение, дают воображению способность поплыть, – подобно ладье, оттолкнувшейся от пристани, – каждому в свое море, под своими парусами. А «что дальше» – это уже вопрос нашей чувствительности,

опять таки каждой у каждого.

Четверостишия Пушкина, переведенные на наш язык, приняты в Ниппоне с восторгом, как свои, положены на музыку нашими композиторами и певцами, их поют на улицах и за работой. И никто, решительно никто не спрашивает, «что дальше». Потому что они просты и ясны, как рисунки наших ниппонских пейзажистов, которые вы, европейцы, так любите, хотя, простите за откровенность, очень мало в них понимаете. Совсем не то в них ищете и видите, что мы, довольные пейзажем постольку, поскольку он позволяет нам заполнять его простор – каждому своей собственной духовной жизнью. В этом Пушкин больше наш, чем ваш: не с Европой, а с Азией.

– Что же? – усмехнулся я. – Александр Сергеевич и сам предсказывал свое будущее азиатское величие, – что назовут его и «финн, и ныне дикой тунгуз, и друг степей калмык»... А ориентолог Радлов однажды в Урянхайском крае записал народную песню, которая, как перевели ее на русский язык, оказалась дословно «Шотландскою песней» Пушкина: «Во-

рон к ворону летит, ворон ворону кричит». Какими путями она туда забрела, – ни один евразиец не скажет...

– К слову о воронах, – подхватил японец, – вы любите, как наши художники-анималисты рисуют животных?

– Да, в особенности, птиц. Большие мастера. Их одухотворенный реализм неподражаем.

– Охотно принимаю ваше определение. Да, одухотворенный реализм. Так вот, погодите, когда-нибудь, – и ждать недолго, – выйдет у нас иллюстрированное издание Пушкина... Согласитесь, что русския – все без исключения – до настоящего времени оставляют желать лушаго...

– Имеете право выразиться смелей: за малыми исключениями, просто безобразны.

– А вот мы вам покажем, что значит внутреннее родство одухотворенного реализма нашей живописи и графики с одухотворенным реализмом словесной живописи Пушкина. И, в особенности, именно в отделе «осколочков», где у Пушкина целый птичий двор и зверинец. Нам и заказов новых делать не

придется. Стоит только походить по мастерским, да сделать выбор лучшего, что наготовлено в столетиях. Какого «невольника-чижики», который, «забыв и рощу, и свободу, зерно клюет и брызжет воду, и песней тешится живой», знаю я в одной лавке в Иеддо! Какую «стрекотунью-белобоку, пеструю сороку», пророчицу гостей, – как она скачет под лучем зари алым, серебрящим снежный прах! Все предвидены, все найдутся. И лев, оборотень «алчного греха», «следящий грешника-оленья бег пахучий, ноздри пыльные уткнув в песок зыбучий». И первая пчелка «на проталинах весенних». И все лесное зверье, собравшееся «ко медведю, ко боярину» оплакивать убитую медведиху...

– А сказать вам, – слегка улыбнулся я на его пылкий энтузиазм, – в чьем чтении я слышал однажды эту сказку об убитой медведихе и вдовце-медведе?

– Вероятно, кого-нибудь из ваших великих актеров?

– Нет, интереснее. Федора Михайловича Достоевского.

– Быть не может?! Когда? где?

– Да тогда же, в московский Пушкинский праздник 1880 года, на вечере Общества Любителей Российской Словесности. Тургенев читал: «Зима. Что делать нам в деревне?», «Зимнее утро» и «Тучу». А Достоевский в одном отделении «Пророка», а в другом «Как весной теплой порою» – медведя с медведицей... Чудесно читал. Народно, с простотой. Как сейчас слышу.

– И вы, удостоившись такого счастья, так спокойно об этом говорите?

– Друг мой, между этим счастьем и нынешним днем легло пятьдесят шесть лет. Было время остыть.

Японец прикрыл узкие глазки, качнул головой:

– Не знаю... Странные вы, русские, люди... Слышать, как Пушкина читал Тургенев и Достоевский... Я за подобное счастье охотно пожертвовал бы несколькими годами жизни...

– Да, хорошо вам жертвовать, когда жизни то у вас впереди, может быть, еще три четверти века. А у меня, наоборот, три четверти века уже за спиной, а впереди... Тут, знаете, научишься экономии на годы, не разжертву-



ешься!